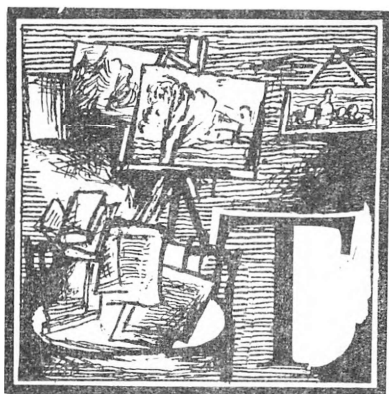


С. И. ДЫМШИЦ-ТОЛСТАЯ



ридцать пять лет отделяют меня от времени, когда оборвались наши отношения с Алексеем Николаевичем Толстым, отношения дружбы и любви, которые длились около десяти лет.

Годы нашей близости с А. Н. Толстым были для него как литератора временем исключительно важным. Это были годы его творческого формирования. В эти годы он вступил на литературный путь.

Решившись по предложению биографов и исследователей творчества А. Н. Толстого взяться за написание этих воспоминаний, я испытываю чувства противоречивые: думается — надо ли писать? Давно это было, многое позабыто, безвозвратно ушло из памяти; и все же какое-

то чувство подсказывает — надо написать, ведь об этом десятилетии в жизни А. Н. Толстого, о годах 1906—1915-м, могут рассказать лишь очень немногие, а это значит, что я почти обязана написать о том, что запомнилось.

Мои воспоминания будут краткими. Это потому, что я расскажу в них только о том, что помню отчетливо, решительно избегая вымысла или домысла. Пусть некоторые эпизоды покажутся незначительными. Зато все сказанное — только правда.

1. ЗНАКОМСТВО

Был 1905 год — год великих революционных потрясений в России.

Революционные события увлекли за собой прогрессивно настроенную молодежь, лучшую часть студенчества, юношей и девушек, воспитанных на произведениях Белинского и Некрасова, Чернышевского и Добролюбова, Писарева и Щедрина, на примерах их благородной и самоотверженной борьбы. Начались так называемые «студенческие беспорядки», с участниками которых начальство и полиция расправлялись решительными мерами. Исключение из высших учебных заведений, аресты, высылки — таковы были эти меры. В 1906 году, когда революционные события пошли на спад, некоторые из исключенных студентов ушли в эмиграцию, продолжая учиться в зарубежных институтах и университетах и поддерживая между собой связи, сложившиеся в 1905 году.

Мой брат Лев, исключенный «за участие в студенческих беспорядках» из Рижского политехнического института, после кратковременного ареста уехал в Германию, где поступил в Дрезденский технологический институт. Здесь он дружил со многими русскими студентами, среди которых особенно сблизился с А. Н. Толстым, поступившим в Дрезденский технологический институт после исключения из Петербургского технологического института.

Я в это время жила и училась в Берне, где была студенткой университета. В этом же университете обучался и человек, считавшийся по документам моим мужем. Брак наш был странный, я сказала бы «придуманный». Человека этого я не любила и не сумела его полюбить.

Вскоре я тайно, без всякого предупреждения, покинула его и поехала в Дрезден, к брату. Здесь я поселилась в пригородном районе под названием «Вайсер Хирш» («Белый олень»).

Брат часто навещал меня, приезжая со своими товарищами, среди которых был и Алексей Николаевич Толстой.

Алексея Николаевича его товарищи-студенты любили за веселый, открытый и прямой характер. Они посмеивались над его необыкновенным аппетитом, рассказывая о том, что в ресторане на вокзале (студенты обедали там потому, что это был самый дешевый ресторан в Дрездене) он беспощадно «терроризировал» официантов, приносящих ему к обеду большую корзинку с хлебом, лаконическим выкриком: «Вениг!» («Мало!»). Не без гордости рассказывали они о том, что Алексея Николаевича — обязательного участника всех студенческих общественных кружков — дрезденская полиция таскала на допрос за хранение русской подпольной литературы в студенческой библиотеке и что Толстой основательно «дал сдачи» немецким полицейским. На этом допросе — так рассказывали мне брат и его друзья — Алексей Николаевич вел себя настолько вызывающе, что его хотели было выслать из Дрездена.

Через некоторое время Алексей Николаевич поразил и взволновал моего брата совершенно неожиданным для него заявлением. «Знаешь, Леон, — сказал он, — если мне когда-нибудь придется жениться вторично, то моей женой будет твоя сестра». Брат забеспокоился. Он знал, что Алексей Николаевич женат и имеет ребенка, что покинутый мною муж из мести не даст мне развода. Поэтому, «во избежание греха», он потребовал, чтобы я уехала в Петербург, к родителям. Вскоре я так и поступила.

2. В ШКОЛЕ ЕГОРНОВА

Вернувшись в Россию, я начала готовиться к поступлению в Академию художеств. С этой целью я поступила в школу художника С. С. Егорнова.

Однажды, возвращаясь домой из этой школы, я на углу Невского и Пушкинской встретила с Алексеем Ни-

колаевичем. Оказалось, что он покинул Дрезден и сумел восстановиться в Технологическом институте. Алексей Николаевич попросил разрешения посетить меня и мою семью. Вскоре он пришел к нам с женой, Юлией Васильевной Рожанской. Так начались частые семейные встречи.

Но затем Алексей Николаевич стал приходить ко мне один, без жены, что вызвало недовольство моих родителей. От меня потребовали, чтобы я перестала принимать Алексея Николаевича. И мне пришлось покориться.

Когда Алексей Николаевич пришел ко мне с билетами, приглашая на маскарад в Мариинский театр, я отказалась, ссылаясь на мнимое нездоровье, и послала вместо себя младшую сестру. Та, вернувшись с маскарада, рассказывала, что Алексей Николаевич весь вечер говорил обо мне, о том, что я нашла свое счастье в искусстве и что он завидует мне, как человек, по ошибке прошедший мимо своего призвания. Оканчивая Технологический институт, он понял, что его влечет к себе не инженерство, а искусство.

Однажды вечером, придя к нам и не будучи принят (ему сказали, что меня нет дома), Алексей Николаевич успел передать мне через сестру, что он поступил в школу Егорнова.

И в самом деле, назавтра в школе я увидела Алексея Николаевича, который сидел очень серьезный, почти неподвижная головы от листа, и упорно и сосредоточенно рисовал с гипса голову Аполлона. В перерыве С. С. Егорнов познакомил нас, и мы очень спокойно разыграли при нем сцену «первого знакомства».

Скоро, однако, милейшему Егорнову стало ясно, что встреча наша была не случайной, и он принялся покровительствовать нашей любви. Он начал писать мой портрет (очень удачная и реалистическая работа, которая ныне находится у моей дочери — М. А. Толстой, в Москве), а Алексей Николаевич неизменно присутствовал при этом как ученик и «эксперт». Получалось так, что мы проводили вместе целые дни в школе Егорнова.

Алексей Николаевич совершенно забросил свои занятия в Технологическом институте, куда он просто перестал ходить. Между тем для окончания института ему оставался только дипломный проект. Его товарищи-студенты целой делегацией явились к нему, пытаясь образумить «за-

блудшего». Но Алексей Николаевич твердо решил отдаться искусству и покинул Технологический институт как «окончивший без защиты диплома».

Однажды весной 1907 года Алексей Николаевич явился в школу Егорнова, облаченный в сюртук, торжественный, застегнутый на все пуговицы. Оставшись со мной наедине, он сделал мне предложение стать его женой. В ответ я обрисовала ему всю нелепость нашего положения: я — незамужняя жена, он — незамужний муж. Но Алексей Николаевич продолжал настаивать, заявил, что его решение куплено ценой глубоких переживаний, говорил, что его разрыв с семьей предрешен, и требовал моего ухода из семьи. Все же в этот раз мы ни до чего не договорились и в следующие дни еще неоднократно обсуждали наши радостные чувства и невеселые обстоятельства. Наконец, желая окончательно проверить чувства Алексея Николаевича к его семье и ко мне, я предложила, чтобы он с Юлией Васильевной совершил заграничную поездку.

Алексей Николаевич согласился на мое предложение. Выполнить его было нетрудно. Сын его воспитывался у родителей жены, деньги на поездку имелись (Алексей Николаевич, материальные дела которого до того были не блестящими, как раз внезапно разбогател, получив тридцать тысяч рублей в наследство от отца — графа Николая Александровича Толстого, самарского предводителя дворянства). Летом 1907 года Алексей Николаевич и Юлия Васильевна поехали в Италию, но ждать их возвращения пришлось недолго. Не прошло и месяца, как Алексей Николаевич вернулся в Петербург.

Во время заграничной поездки стало ясно, что семейная жизнь Алексея Николаевича и Юлии Васильевны распалась окончательно. Юлия Васильевна вначале тяжело переживала разрыв. Несколько смягчающим ее переживания обстоятельством был уход Толстого в искусство. Юлия Васильевна хотела видеть Алексея Николаевича инженером, к искусству она относилась равнодушно. Однажды она сказала Алексею Николаевичу: «Если ты окончательно решил отдаться искусству, то Софья Исааковна тебе больше подходит».

В июле 1907 года началась наша с Алексеем Николаевичем совместная жизнь. Июль, август, сентябрь 1907 го-

да мы провели на даче на Карельском перешейке, в местечке Келломяки. Жили мы в лесу, в маленьком одноэтажном домике.

3. «КОШКИН ДОМ»

Так Алексей Николаевич прозвал нашу дачу в Келломяках.

На домик был водружен плакат, рисованный Алексеем Николаевичем, с подписью: «Белый сытый кот гуляет по зеленому лугу».

Жили мы тихо и уединенно. Из людей искусства встречали только Корнея Ивановича Чуковского, который проживал неподалеку от нас в местечке Куоккала.

Жили, полные любви и надежд, много работали. Я занималась живописью. Алексей Николаевич на время отошел от изобразительного искусства и погрузился в литературную работу.

Еще до этого, в начале 1907 года, вышел в свет первый сборник стихотворений Алексея Николаевича — «Лирика». В выпуске этой книги Толстому помог его приятель, незначительный поэт Фандерфлит, который материально поддержал издание. Книжка была проникнута чувством молодой и глубокой влюбленности, но отмечена поэтической несамостоятельностью, очевидным влиянием символистов.

Теперь Алексей Николаевич взялся за выработку своего литературного голоса. Работал он много и упорно, часами не выходил из комнаты. Сборники русской народной поэзии, собрания народных русских сказок изучались им основательно и любовно. Это была большая и интенсивная работа над языком, над формой народного стиха. Вместе с тем впервые Алексей Николаевич взялся за обработку своих детских и юношеских наблюдений над народной жизнью на Волге, где прошло его детство и отрочество, и на Урале, где он в 1905 году посетил прииски и видел жизнь и труд рабочих.

Первыми печатными результатами этой работы, сделанной в Келломяках, было навеянное мотивами народного творчества стихотворение «Скоморохи», помещенное в ноябрьской книжке журнала «Образование» за 1907 год, и рассказ «Старая башня», вызванный уральски-

ми впечатлениями и воспоминаниями, который напечатала «Нива» в № 21 за 1908 год.

Этим летом Алексей Николаевич сделал много литературных заготовок, использованных им впоследствии, сделал и ряд интересных пейзажных рисунков и этюдов. От живописи он тогда еще не хотел уходить, еще намеревался совмещать работу в литературе с профессией художника.

Поздней осенью мы покинули «Кошкин дом» и вернулись в столицу. Сначала мы поселились в Петербурге на Пушкинской улице; сняли большую просторную комнату. Потом перебрались на Глазовскую улицу, в дом № 15, в деревянный особнячок, где заняли квартиру из трех небольших комнат. А затем очень скоро переехали на Таврическую улицу, где жили в доме № 25, в котором помещалась школа живописи художницы Е. П. Званцевой. У этой Званцевой, в ее квартире, мы и сняли комнату.

4. НАШИ ДЕБЮТЫ

Учась у Егорнова, мы с Алексеем Николаевичем намеревались в дальнейшем поступать в Академию художеств. Летом 1907 года мы решительно передумали. Академия казалась нам слишком консервативной, нас привлекали работы художников группы «Мир искусства». Мы выбрали поэтому школу живописи на Таврической, 25, которую открыла Е. П. Званцева.

Званцева была интересная художница. Ученица И. Е. Репина, она затем сблизилась с «мирискусниками». Она была незаурядным организатором: создала школу живописи в Москве, где преподавал Серов, потом с участием Бакста, Добужинского, Анисфельда, позднее — Петрова-Водкина руководила подобного же рода школой в Петербурге. Не будучи постоянным преподавателем этой школы, в ней часто появлялся и работал с учениками Сомов.

Придя в школу со своими этюдами и рисунками, мы попали к Баксту, который очень несправедливо отнесся к работам Алексея Николаевича, на мой взгляд талантливым и своеобразным. «Из вас, — сказал Бакст Толстому, — кроме ремесленника, ничего не получится. Художником вы не будете. Занимайтесь лучше литературой. А Софья Исаковна пусть учится живописи». Алексея Ни-

колаевича этот «приговор» несколько разочаровал, но он с ним почему-то сразу согласился. Думаю, что это не была капитуляция перед авторитетом Бакста, а скорее иное: решение целиком уйти в литературную работу. С этого времени началось у нас, так сказать, разделение труда. «Мирискусники» (Бакст, Сомов, Добужинский) одобряли мои первые работы. Алексей Николаевич обратил на себя своим крепнувшим поэтическим талантом внимание литературных кругов.

Завязались первые знакомства в среде людей искусства. Художники приходили к нам на Глазовскую, а потом на Таврическую. В ресторане «Вена» на Морской, куда любил выезжать Алексей Николаевич, мы встречались с писателями. Завсегдатаями этого ресторана были Куприн и Арцыбашев, окруженные литературной богемой. Появлялись там, не засиживаясь, В. В. Вересаев и Леонид Андреев. Мы познакомились с этими писателями. К Андрееву впоследствии однажды ездили на его дачу в Финляндию, подивились странной архитектуре этого здания, выстроенного в подражание норвежскому домику: черные стены, ярко-красная крыша, материал — легкий, точно из картона. Однако ни с кем из писателей мы в ту зиму еще не сблизились; разве что с беллетристом Осипом Дымовым, с ним у нас сложились дружественные отношения.

Алексей Николаевич продолжал серьезную работу над своими первыми произведениями, оттачивал форму своих стихотворений, искал и находил форму простую, реалистичную, многому учился у народной поэзии. Лирика его насыщалась описательными, повествовательными мотивами, чувство сочеталось в ней с картинами живой жизни. В стихах его появились образы, которые затем развернулись в образах его «Заволжья». В его «Скоморохах» уже можно обнаружить намеки на образ Оськи из «Архипа».

Прямо из жизни, как жанровую картинку, выхватил Алексей Николаевич для стихотворения «За окнами тихо...» образ тетушки, его любимой «тети Маши», сестры его матери, — Марии Леонтьевны Тургеневой, которую мы в конце 1907 года навестили в Москве, в одноэтажном деревянном домишке на Кудринской площади. В этом стихотворении, напечатанном в № 1 журнала «Образование»

за 1908 год, для меня оживает в памяти и образ «тети Маши», и ее московская обстановка:

За окнами тихо, мороз голубой,
Улицы, тумбы, заборы.
Тетушка вяжет петлю за петлей,
Искрятся в стеклах узоры.
Старая тетушка смотрит в очки,
Поет самовар, зазывает сверчка
Мебель из старой гостиной...
«Хочешь чайку, еще жив самовар;
Скушай варенья, мой милый».
Ложкой по банке в буфете стучит
Тетушка в шали пуховой,
Пузан самовар все кипит да кипит.
«Морозец сегодня здоровый!»

В конце 1907 года мы надумали совершить заграничную поездку. Мои наставники в области живописи считали, что я должна посетить Париж, который слыл среди них «городом живописи и скульптуры», что я должна там многое посмотреть, а заодно и «себя показать», продемонстрировать свои работы тамошним «мэтрам». Мы же смотрели на эту поездку, прежде всего, как на своего рода свадебное путешествие. И вот в январе 1908 года мы выехали в Париж.

5. В ПАРИЖЕ

Приехав в Париж, мы поселились в большом пансионе на рю Сен-Жак, 225. Пансион был населен людьми различных наций, вплоть до двух студентов-негров, плененных принцев, воспитывавшихся на средства французского правительства и обучавшихся медицине.

В этом многонациональном пансионе Алексей Николаевич особенно охотно подчеркивал, что он из России, появлялся в шубе и меховой шапке, обедал плотно, как он говорил, «по-волжски».

За обедом в пансионе блюда обносили по несколько раз, делая это только ради проформы, так как пансионеры обычно брали по одному разу. Алексей Николаевич никогда не довольствовался одной порцией, аппетит у него был знатный. Невзирая на шутки окружающих, он повторял каждое блюдо. «Это по-русски»,— говорил он, заказывая вторую порцию. А когда я под влиянием косых взглядов и хихиканья окружающих попыталась удержаться

его от нового заказа, он, улыбаясь, подозвал официанта, взял третью порцию того же блюда, заметив: «А вот это по-волжски», и, посмеиваясь, сказал невозмутимому официанту: «Мерси».

Однажды за завтраком вспыльчивая натура Алексея Николаевича чуть было не вызвала скандала. По соседству с нами в пансионе жил какой-то румынский аристократический шалопай, сын министра, «вечный» студент. По вечерам к нему собирались его приятели, которые своими криками и пением ужасно раздражали Алексея Николаевича, мешая ему работать. Однажды эти доблестные представители «золотой молодежи» до поздней ночи играли на шарманке, часто повторяя попури из «Кармен». Толстой не мог ни работать, ни спать, несколько раз порывался пойти к соседу, «набить ему морду». Я с большим трудом удержала его в комнате.

В другой раз за обедом Алексей Николаевич чуть было не ввязался в скандал, возмущенный расовым хамством четырех долговязых американок, прибывших в пансион и впервые явившихся к столу. Обнаружив в зале двух негров, эти «дамы» потребовали, чтобы чернокожие немедленно удалились. Смущенная хозяйка пансиона пыталась уговорить их сесть за стол, заявляя, что эти негры — принцы крови. Но американки не сдавались. «Эти негры могут оставаться в пансионе, если будут чистить нашу обувь. Но сидеть с нами за столом они не будут», — злобно выкрикнула одна из них. Алексей Николаевич рассвирепел и уже готов был отругать американок. Но тут хозяйка дома, памятуя, что негритянские принцы — иждивенцы ее правительства, собралась с духом и отказала от дома американским туристкам. Провожая удаляющихся американок презрительным взглядом, Алексей Николаевич подошел к хозяйке, потряс ее руку и, смеясь, заметил, что расцеловал бы ее, если бы она не была столь молода и хороша собой.

К весне Алексей Николаевич неожиданно преобразился: сбрил бороду и усы, прическу ершиком сменил на прическу с пробором, завел цилиндр и черный костюм из английского сукна, обшитый шелковой тесьмой. Но и в этой одежде не было ничего от «западной моды», все это было сделано по своему выбору, без оглядки на парижских модников.

С французским языком у Алексея Николаевича в Париже были постоянные трудности. Он приехал во Францию со слабыми знаниями этого языка и обогатился здесь только словечками и выражениями парижского аргю (жаргона) да еще различными французскими крепкими словесами. В этой области французской языковой «культуры», которая его весьма забавляла, он достиг такой полноты и виртуозности знаний, что вызывал изумление парижан. Однажды вечером мы нанесли визит нашему парижскому приятелю, русскому поэту и художнику Максимилиану Волошину. Явились мы поздно и без предупреждения, хозяева к нашему приходу не готовились, уже отужинали, и Алексей Николаевич вызвался пойти за вином и закусками в один из близлежащих магазинов. Пока он ходил, закрыли парадную, и консьержка отказалась впустить незнакомого ей визитера. Тогда Алексей Николаевич поговорил с ней на парижском аргю, требуя, чтобы его пропустили к «месье Волошину». Консьержка, вне себя от ярости, прибежала к Волошину, заявив, что она не может поверить, что «пахальный субъект» у дверей в самом деле является его другом. Не менее удивлен был и Волошин. «Мой друг,— сказал он,— не говорит по-французски. Здесь какое-то недоразумение». — «О нет! — воскликнула консьержка. — Он говорит. И при этом очень хорошо».

Среда, в которой мы вращались в Париже, состояла из русских и французских художников и писателей. В эту среду ввела нас русская художница Елизавета Сергеевна Кругликова, которая годами жила в Париже, в районе Монмартра, на рю Буассонад. Елизавета Сергеевна познакомилась с моими работами и направила меня в школу Ла Палетт, где преподавали известные французские художники Бланш, Герен и Лафоконье. Из русских живописцев мы часто встречали К. С. Петрова-Водкина, тогда еще молодого художника, Тархова, погруженного в излюбленную им тему поэзии материнства, Широкова, писавшего свои работы лиссировкой, и Белкина, начинавшего тогда свой художественный путь. Кругликова познакомила нас и с уже упоминавшимся Максимилианом Александровичем Волошиным, с которым мы дружили многие годы и после отъезда из Парижа.

Встречали мы в Париже и выходившего из моды символистского «мэтра» Константина Дмитриевича Бальмонта. Алексей Николаевич был с ним неизменно вежлив и корректен, присутствовал даже на комическом «суде» над Бальмонтом, но в новых его произведениях видел лишь признаки увядания таланта, а самая поэтическая природа Бальмонта — порывистого, несколько невравстеческого импровизатора — была ему, неутомимому и целеустремленному работнику в литературе, абсолютно чужда. Он очень забавлялся смешным инцидентом, который привел Бальмонта на скамью подсудимых во французском суде. Дело было так. Однажды лунной ночью, после основательной выпивки, Бальмонт, возвращаясь домой, увидел впереди француженку, у которой был растегнут ридикюль. Желая быть галантным, он принялся догонять незнакомку, крича ей по-русски: «Ваш ридикюль!.. Ваш ридикюль!» При этом Бальмонту не пришло в голову, что его восклицание в переводе на французский язык означало: «Смешная корова!» Возмущенная француженка обратилась за помощью к ажану (полицейскому), который остановил пьяного прохожего, производившего явно подозрительное впечатление: он ковылял (Бальмонт прихрамывал), сильно жестикулировал, ерошил и без того всклокоченную гриву рыжеватых волос и громко кричал: «Ваш!.. Ваш!..» Ажана эти выкрики привели в ярость, он принял их на свой счет, ибо на парижском арго ажанов звали «мор о ваш» («смерть коровам»). Не вдаваясь в подробности, он арестовал Бальмонта за... приставание к женщине и оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей. Приятели Бальмонта нашли его на следующий день в тюрьме, облаченного в полосатый арестантский костюм, занятого выполнением арестантского «урока» — он клеил спичечные коробки. Был суд, и этот суд оправдал Бальмонта. Толстой ходил послушать и посмотреть на эту судебную комедию, которая его очень веселила.

В ресторанчике «Клозери де Лиля», охотно посещавшемся литераторами, мы встречались с Ильей Григорьевичем Эренбургом, тогда молодым поэтом. Прочитав в воспоминаниях Н. К. Крупской, что Владимир Ильич Ленин называл Эренбурга тех лет «Илья Лохматый», я подумала, что это определение было удивительно точным.

Эренбург среди приглашенных и напмаженных французов-литераторов выделялся своей пышной шевелюрой. Мы однажды послали ему на адрес кафе открытку с надписью: «О месье маль куафэ» («плохо причесанному господину») — и эта открытка нашла Эренбурга.

Алексей Николаевич много, часто и подолгу беседовал с Максом Волошиным, широкие литературные и исторические знания которого он очень ценил. Он любил этого плотного, крепко сложенного человека, с чуть близорукими и ясными глазами, говорившего тихим и нежным голосом. Ему импонировала его исключительная, почти энциклопедическая образованность; из Волошина всегда можно было «извлечь» что-нибудь новое. Но вместе с тем Толстой был очень далек от того культа всего французского, от того некритического, коленопреклоненного отношения к новейшей французской поэзии, которые проповедовал Волошин.

Живя в Париже, вращаясь в среде Монмартра, среди французских эстетов, встречаясь с эстетствующими «русскими парижанами», ужиная чуть ли не ежевечерне в артистических кабачках, Алексей Николаевич оставался здесь гостем, любопытствующим наблюдателем — и только. Сжиться с атмосферой западноевропейского декаданса этот настоящий русский человек и глубоко национальный писатель, разумеется, не мог.

На творческую работу Алексея Николаевича ни парижские встречи, ни парижская атмосфера никак не влияли. Он шел своим, все более определявшимся для него путем. От работы над стихами он перешел к прозе, по-прежнему так же упорно занимаясь языком народного поэтического творчества. Мы приехали в Париж с чисто «творческим багажом»: я — со своими холстами, Алексей Николаевич — с небольшой библиотекой, в которой его особенно интересовали собрания русских сказок, в частности любимое им афанасьевское собрание.

Работал он изо дня в день по строго заведенному расписанию. Садился за стол рано утром, трудился до обеда, а затем, после перерыва, — до вечера. Много из написанного, если оно его не удовлетворяло, он безжалостно уничтожал. Помню, как однажды он бросил в огонь большую рукопись, повесть, которую он писал довольно долго, но так и не закончил. Мы сидели у камина, Толстой читал,

а затем спросил о моем мнении. Я высказала ряд замечаний критического характера, которые, видимо, совпали с его авторскими ощущениями. Тогда Алексей Николаевич очень спокойно положил рукопись в пламя камина. Я схватила щипцы и принялась спасать повесть. Но пламя было жаркое, Алексей Николаевич мешал мне, и рукопись сгорела. «Так и надо,— приговаривал Толстой, удерживая меня.— Повесть-то плохая». Этот поступок был очень для него характерен. Он работал много и к работе своей относился без всякого снисхождения. Творчество было для него трудом, к которому он подходил строго и взыскательно.

В течение почти целого года, который мы провели в Париже, только два события вывели Алексея Николаевича из заведенного им темпа работы. Это было известие, пришедшее от Юлии Васильевны, о смерти его трехлетнего сына, последовавшей от менингита. Алексей Николаевич очень тяжело переживал смерть ребенка. В другой раз это была кратковременная поездка в Петербург, которую он совершил без меня (я была связана посещениями художественной школы и не могла ему сопутствовать).

Поздней осенью мы вернулись из нашей первой парижской поездки домой, в Петербург, на Таврическую улицу, 25.

6. РОДСТВЕННИКИ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Вернувшись в Петербург, Толстой стал все больше сближаться с литературной средой. В нашем доме по вечерам все чаще появлялись писатели и художники, устраивались литературные чтения.

Между тем, как потом выяснилось, полиция организовала слежку за нашей квартирой. Хозяин был в прошлом замешан в студенческих волнениях, в Германии, а затем и во Франции встречался с некоторыми эмигрантами из царской России, дом его — гостеприимный, ходят к нему люди, известные не только литературной деятельностью, но и антиправительственными настроениями,— словом, всего этого оказалось достаточно, чтобы учинить за ним полицейскую слежку. Однажды в доме нашем вместе с кем-то из писателей побывали некоторые лица, находив-

шиеся на примете у полиции, и в следующую ночь Алексей Николаевич был арестован.

Наутро я отправилась в жандармское управление, где какой-то полковник принял меня с нескрываемым любопытством. Оказалось, что он знал старших братьев Алексея Николаевича, видных чиновников, с которыми Толстой не встречался и не знался. Я просила принять для Алексея Николаевича бутылку чернил, бумагу и письменные принадлежности, чтобы он мог продолжать свою литературную работу. Но жандармский полковник не принял мою «посылку», а заявил, что ускорит «дознание» и постарается помочь скорому возвращению Толстого. Действительно, Алексей Николаевич вскоре приехал домой, ругая на чем свет стоит жандармов и «чертову кутузку».

Зимой 1909 года Алексей Николаевич задумал свести меня с теми членами его семьи, с которыми он поддерживал родственные и дружественные отношения. Прежде всего мы отправились в Москву к уже знакомой мне Марии Леонтьевне Тургеневой, его «тете Маше», очень близкому ему человеку, заменявшему ему умершую мать. Тетя Маша отразилась во многих произведениях Толстого, в таких его ранних рассказах, как «Неделя в Турене-ве», «Заволжье», «Неверный шаг»; Алексей Николаевич любил ее не только как родного человека, но и как женский тип, как образ чистой и талантливой женщины, своим личным благородством резко выделявшейся в окружающей ее уродливой среде вымирающего дворянства. У тети Маши в молодости был прекрасный голос, она собиралась пойти в консерваторию, но осталась в семье, посвятив себя уходу за одиноким и больным отцом. И после смерти отца она всю жизнь отдавала себя заботам об окружающих, много любви и тепла посвятив, в частности, своему Алиханушке (так звала она Алексея Николаевича). Встретила она нас с радостью и волнением, и мы провели у нее чудесные дни.

От Марии Леонтьевны мы поехали на Волгу, а по Волге от Нижнего в Самару, к отчиму Толстого — Алексею Аполлоновичу Бострому. Поездка по Волге, его любимой реке, пробудила в Алексее Николаевиче множество поэтических воспоминаний. Для меня же она явилась огромным художественным переживанием — ярким и незабываемым. Понять красоту Волги, почувствовать пре-

лесть ее живописных берегов с их белыми березами, холмами и церквушками мне помог юный и жизнерадостный волжанин Алексей Николаевич, влсбленный в свою родную широкую реку.

Алексей Аполлонович, очень аккуратный старичок с холеной бородой, расчесанной на две стороны, с юношески-танцующей походкой, так не шедшей к его почтенному возрасту, встретил нас очень радушно и ласково. В дом Бострома, пока мы в нем жили, приходили к Алексею Николаевичу многочисленные друзья его детства. Здесь же познакомилась я и с другой его теткой — Ольгой Константиновной Татариновой — очень просвещенной женщиной, работавшей в области организации земских библиотек. Алексей Аполлонович, второй муж покойной матери Толстого, Александры Леонтьевны, был трогательно предан ее памяти, и Алексей Николаевич жил у него, как в родном доме. Погостив в гостеприимном доме Бострома, мы через Москву вернулись в Петербург.

В разное время я познакомилась и с другими родственниками Алексея Николаевича и от них, а больше всего от тети Маши, узнала многое о родителях и детских годах Толстого.

Отец Алексея Николаевича был крупным помещиком, самарским предводителем дворянства. Это был самодур, пьяница, человек грубый и жесткий. Мать Алексея Николаевича — Александра Леонтьевна Тургенева — была, наоборот, женщина образованная и прогрессивно настроенная, одаренная детская писательница (помню, что Алексей Николаевич после ее смерти не раз получал за ее книги для детей гонорары в книгоиздательстве И. Д. Сытина). Жизнь с графом Николаем Александровичем Толстым была для нее мучительной, а после знакомства с А. А. Бостромом — прогрессивно настроенным интеллигентом из мелкопоместных дворян, к которому она прониклась глубокими чувствами, — сделалась и вовсе невыносимой. В ожидании рождения четвертого ребенка она ушла от графа Толстого к Бострому, вместе с которым и воспитала родившегося вскоре сына — Алешу. Она пыталась взять к себе и старших детей, но граф Толстой, желая отомстить, отказал ей в этом. Дочку Елизавету он отдал на воспитание бабушке, а старших сыновей — Александра и Мстислава — оставил у себя, воспитав их в же-

стокой вражде к матери и младшему брату. Ненависть старших братьев к матери, привитая им отцом (который, впрочем, после ухода Александры Леонтьевны очень скоро нашел себе другую жену), была настолько велика, что сын Мстислав, находившийся случайно в больнице, в которой умирала Александра Леонтьевна, отказался выполнить ее предсмертную просьбу — прийти к ней проститься.

Граф Н. А. Толстой добился было и того, что родители Александры Леонтьевны отреклись от нее и в течение нескольких лет отказывались ее принимать. Тетя Маша рассказывала мне, что, желая сломить упорство родителей, Александра Леонтьевна отправилась к ним зимой, взяв с собой Лелю (как она звала маленького Алексея Николаевича). Когда ее родители вышли на крыльцо, из саней выскочил маленький мужичок в тулупе, повязанный оренбургским шерстяным платком, и бросился целовать бабушку и дедушку. Старики прослезились и приняли дочь с внуком. Так Алиханушка помирил мать с ее родителями.

С сестрой Алексея Николаевича — Елизаветой Николаевной — я познакомилась только в 1912 году, когда она вместе с ее мужем штабс-капитаном Конасевичем посетила нас в Петербурге. Конасевич был ее вторым мужем. В первом браке она была замужем за полковником Рахманиновым, от которого имела сына Андрея. Елизавета Николаевна была высокая, красивая женщина, любила литературу и сама писала стихи. Она жила с мужем в Новом Петергофе и чувствовала себя очень сиротливо в армейско-офицерской среде.

Позднее я познакомилась и с «патриархом» рода Татариновых и Тургеневых, старейшим среди родни Алексея Николаевича, его дядей — Григорием Константиновичем Татариновым. «Гонечка» (так звали его в семье) был одним из типичнейших заволжских помещиков, каких с иронией изобразил Алексей Николаевич в своем «Заволжье». Мы приехали к нему в имение Войкино в жаркий майский день. Из Симбирска ехали цветущей степью на лошадях. Алексей Николаевич сидел в дрожках, как зачарованный слушал жаворонков и наслаждался чудесным пейзажем родных его сердцу мест. Приехав в Войкино, мы увидели старинный помещичий дом, превра-

щенный его хозяином в маленький музей. Сюда свозились все фамильные раритеты и «уники» от разорившихся родственников-помещиков, которые те не решались пустить с молотка из страха перед «Гонечкой». Поэтому в каждой комнате стоял какой-нибудь необыкновенный гарнитур мебели. Хозяйка дома Клавдия Михайловна, в прошлом сирота, воспитанница Татариновых, очень норовистая особа, которую сильно недолюбливали местные крестьяне, требовала, чтобы гости вели себя совсем как в музее — снимали при входе сапоги и надевали мягкие туфли-шлепанцы. В доме Татариновых хранилась также ценнейшая библиотека их предка — вольнодумца и масона Тургенева. Сам Григорий Константинович был типичным осколком прошлого, либеральствующим баринком, который забавлялся филантропическими реформами (строил на деревне по соседству с его имением школу, мало думая о жизненных условиях крестьян, которым он с барского плеча отвалил этот дар) и кокетничал всевозможными чудачествами.

Ездили мы с Алексеем Николаевичем и в маленькое имение тети Маши Куликовичи, на Воляни. Усадьба стояла на берегу реки, и Алексей Николаевич с увлечением удил по ночам рыбу. Мы же с тетей Машей с утра работали на огороде.

Летом 1912 года мы жили в Симбирской губернии в имении подруги тети Маши. Там был очень красивый запущенный старинный парк. На заре Алексей Николаевич выходил в этот парк и часами стоял там, слушая соловья. Он будил меня, вызывал на балкон. Было зябко от утреннего холода, но поэзия природы увлекала нас, и мы простаивали так молча до завтрака.

В Петербурге нас часто посещали двоюродные братья Толстого — Александр и Леонтий Николаевич Комаровы. Они были сыновьями тетки Алексея Николаевича — Варвары Леонтьевны Комаровой и рано умершего дипломата Николая Комарова. Старший Комаров, Леонтий, был малоинтересен. Он подолгу жил в Париже, таскался по заграницам, увлекался кутежами и связями с малопристойными женщинами. Его и одну из его любовниц Алексей Николаевич изобразил в рассказе «Неделя в Туреневе». Другой брат, Александр, был довольно способным композитором, который положил на музыку не-

которые стихотворения Алексея Николаевича, и в частности известное стихотворение «В старинном замке скребутся мыши», которое было посвящено памяти его сестры Кати Комаровой,— с ней Алексей Николаевич был очень дружен, она скончалась в девятнадцатилетнем возрасте.

Через Комаровых мы получили однажды приглашение к тете Алексея Николаевича фрейлине двора Орловой. Эта придворная дама пожелала увидеть почти незнакомого ей племянника и посмотреть на его совсем незнакомую жену. Мы собрались и поехали к ней на Пушкинскую улицу. Уже на пороге, где нас встретил старик лакей, на нас пахнуло холодным, черствым, чиновным духом светского Петербурга. Сама тетушка — маленькая, изящная старушка, типичная великосветская модница — производила неприятное впечатление, ничем не напоминала волжскую родню. Те были, при всей их старомодности и дворянской ограниченности, люди ясные, приветливые, порою даже сердечные, а здесь был человек-манекен, эгоистичный и манерный. Фрейлина-тетушка любезно пригласила нас повторить визит, мы поблагодарили, но больше ее не посещали.

Таковы были родственники Алексея Николаевича, с которыми он меня познакомил.

7. ЛЕТО В КОКТЕБЕЛЕ

В 1909 году летом мы по приглашению Максимилиана Александровича Волошина поехали к нему в Коктебель, на восточный берег Крыма.

Волошин и его мать жили постоянно в Крыму. Иногда Максимилиан Александрович выезжал по литературным делам в Петербург или в Париж. В Коктебеле он владел двумя деревянными домами, стоявшими на берегу Черного моря. В двухэтажном доме, где находилась мастерская Волошина, в которой он писал свои многочисленные акварельные пейзажи, проживали хозяева. Здесь же находилась превосходная библиотека Волошина, и сюда, как в своего рода художественный клуб, приходили «дачники» Максимилиана Александровича, которые занимали второй, одноэтажный домик. Эти дачники были главным образом людьми искусства: писателями, артистами,

художниками, музыкантами. Летом 1909 года кроме нас у Волошина гостила группа петербургских поэтов.

Из Коктебеля мы несколько раз ездили в Феодосию, где посетили композитора Ребикова и художника-пейзажиста Богаевского. С обоими Алексей Николаевич вел обстоятельные разговоры об искусстве. Он любил слушать, как Богаевский тихим голосом, запинаясь от скромности, комментировал свои пейзажи, как неказистый на вид и чудаковатый Ребиков вдруг загорался и проявлял бешеный темперамент в дебатах о музыке.

В Коктебеле, в даче с чудесным видом на море и на длинную цепь синих гор, Алексей Николаевич вернулся к стихам (здесь он работал над сборником стихов «За синими реками»), работал над фарсом «О еже», писал «Дьявольский маскарад»; пользуясь библиотекой Волошина, начал впервые пробовать свои силы в историческом жанре, изучая эпоху Екатерины II и языковую культуру этого времени. Совершенно неожиданно проявил он себя как карикатурист. В свободное время он увлекался сатирическими рисунками, изображая Волошина и его гостей в самых необыкновенных положениях, и вызывал своими дружескими шаржами веселый смех коктебельцев.

Однажды поэты устроили творческое соревнование. Они заставили меня облачиться в синее платье, надеть на голову серебристую повязку и «позировать» им, полулежа на фоне моря и голубых гор. Пять поэтов «соревновались» в написании моего «поэтического портрета». Лучшим из этих портретов оказалось стихотворение Алексея Николаевича, которое под названием «Портрет гр. С. И. Толстой» вошло в посвященную мне (посвящение гласило: «Посвящаю моей жене, с которой совместно эту книгу писали») книгу стихов «За синими реками», выпущенную в 1911 году издательством «Гриф». Напечатали аналогичные стихи и Волошин и другие поэты.

Два коктебельских утра связаны в моей памяти со смешными обстоятельствами. Проснувшись однажды, я застала Алексея Николаевича в состоянии панического страха. Этот большой и сильный мужчина безумно боялся пауков. Увидев на стене паука, он пытался убежать из комнаты, но остался сидеть на кровати, как загипнотизированный, с широко открытыми от ужаса глазами. Сооб-

разив, в чем дело, я изгнала паука и с трудом привела Алексея Николаевича в чувство.

Зато через несколько дней утром я имела случай убедиться в том, что, вспыхнув и придя в ярость, Толстой также оказывался безудержным и бесконтрольным в своих чувствах. Оставив Алексея Николаевича дома, я пошла купаться. На пляже ко мне пристал какой-то хлыщ. Чтобы отвязаться от него, я поспешила домой и вошла в комнату, когда Алексей Николаевич в ночной рубашке стоял перед зеркалом и брился. Услышав от меня о причине моего раннего возвращения, он выглянул в окно и увидел нахала, стоявшего перед домом. Он вспыхнул, побагровел и с криком ринулся из дому. Боясь, что Алексей Николаевич может изувечить человека, я выбежала за ним следом. Однако, к счастью, хлыщ оказался отличным бегуном. Первая отстала я, затем, тяжело дыша, с изумлением поглядывая на свою рубашку, на бритву, зажатую в правой руке, и стирая мыльную пену со щек, вернулся Алексей Николаевич. Обидчик скрылся из виду. Но Толстой еще долго не мог успокоиться, его всерьез сердило, что нахал остался ненаказанным. В характере Алексея Николаевича было много юношеской непосредственности, чистоты и горячности чувств.

8. В ПЕТЕРБУРГЕ (1909—1910 гг.)

Из Крыма в Петербург мы вернулись поздней осенью 1909 года.

Около года мы прожили на старой квартире, на Таврической улице. Здесь Алексей Николаевич начал работать над сказками. Он этой работой очень увлекался. В 1910 году они были изданы отдельной книжкой под названием «Сорочьи сказки» (с посвящением: «посвящает Сонс, граф А. Н. Толстой-Мирза Тургень») в Петербурге, в издательстве «Общественная польза». «Мирза Тургень» Алексей Николаевич в то время думал взять своим псевдонимом. Имя это для предполагаемого псевдонима принадлежало родоначальнику по линии матери, урожденной Тургеневой.

Осенью 1910 года мы сняли четырехкомнатную квартиру-мансарду на Невском проспекте (дом 147, квартира 43).

Жизнь наша шла по заведенному Алексеем Николаевичем распорядку, она вся строилась так, чтобы он мог работать строго организованно. По утрам, после завтрака, мы совершали прогулку. Затем, вернувшись, Алексей Николаевич наливал в большой кофейник черного кофе и уходил работать в свой кабинет. Я отправлялась в школу живописи Званцевой, где моим консультантом был К. С. Петров-Водкин, и возвращалась домой к шести часам. К этому времени, на обед, приходил к нам кто-либо в гости. Алексей Николаевич выходил из кабинета, все еще погруженный в мысли, тихий и молчаливый. Но очень скоро он превращался в веселого и гостеприимного хозяина, в остроумного рассказчика и внимательного собеседника. Пообедав, Алексей Николаевич охотно брался за рассказы. Рассказывал он увлекательно. Сядет в кресло, заложив ногу на ногу, и, набив пенковую трубочку табаком «кепстен» и изредка посасывая ее, рассказывает на самые разнообразные темы. Был он тогда молод и жизнерадостен и удивительно легко заражал своим весельем слушателей и собеседников. Никогда не смеялся первым. Скажет что-нибудь смешное, вызовет смех, удивленно раскроет рот, точно изумляется неожиданному эффекту, и лишь после этого разразится громким хохотом. Рассказывая и слушая других, он вместе с тем ни на минуту не выпускал из поля зрения окружающих, наблюдал за ними внимательнейшим образом. И после ухода гостей, подметив в беседе что-то новое, бежал в кабинет и заносил свои впечатления в записную книжку.

Иногда на домашних литературных вечерах, устраивавшихся у нас, Алексей Николаевич выступал с чтением своих произведений. В таком сравнительно узком кругу он обычно имел успех. Но стоило ему выступить с чтением перед широкой публикой, как эффект его произведений бледнел и пропадал. В те годы он еще не имел навыков публичных выступлений, большая аудитория его сковывала, он читал монотонно и невыразительно, стирая пестрые и яркие краски своего чудесного литературного языка. И в Петербурге и в Киеве, куда мы ездили вместе ранней весной 1910 года (незадолго до этого Алексей Николаевич уже однажды один посетил украинскую столицу), я с горечью переживала неудачу его публичных чтений. Правда, публика принимала его хорошо, но я, зная,

как сильно могли бы прозвучать в художественном чтении его ранние вещи, досадовала на то, что Алексей Николаевич — человек не робкого десятка — так робел на людях.

Весна 1910 года, проведенная нами в Киеве, была прекрасна. Из гостиницы мы уходили в городской сад. Глядя на Днепр, мы восторженно декламировали Гоголя. Цвели тополя. Природа была молодая. И мы были молоды. И молодо и задорно говорили об искусстве, молодо и талантливо творили наши знакомые — украинские писатели и художники.

Летом 1910 года мы жили у моего брата Льва Исааковича, который снимал дачу под Ревелем. С моим братом у Алексея Николаевича была старая и добрая дружба. К жене брата, Иде Исидоровне, образованной и умной женщине, он относился с большим уважением. Брат и его жена создали нам хорошие условия для работы и отдыха. В разгаре лета у них родился сын, и Алексей Николаевич приветствовал его появление на свет стихотворным экспромтом.

Из Эстонии Алексей Николаевич поехал в Самару и привез оттуда мебель, доставшуюся ему в наследство от матери, — обстановку для новой квартиры. Из Самары он заехал в Войкино, под Симбирском, к дяде — Г. К. Татаринovu.

Съехавшись осенью 1910 года в Петербурге, на новой квартире на Невском, мы занялись ремонтами: ремонтировали квартиру и привезенную из Самары семейную мебель. Денежные дела наши были плохи, и, чтобы закончить ремонт «по средствам», мы воспользовались советом нашего приятеля, известного театрального художника Судейкина, купили дешевые коридорные обои, оклеили этими пестроклечатными обоями одну комнату, на другую комнату использовали их обратную сторону, а в третьей и четвертой кистью изменили рисунок обоев.

На новой квартире Алексей Николаевич написал «Заволжье», которым начал цикл рассказов, принесших ему широкую литературную известность и признание. Как сейчас вижу обстановку, в которой Толстой впервые прочитал вслух «Заволжье». Обычно до того, как читать новые вещи посторонним, Алексей Николаевич читал их мне, избегая присутствия гостей. Но на этот раз он был

так обрадован своим рассказом, так гордился им, что не стал дожидаться ухода гостя, художника, а, выйдя из кабинета с рукописью в руках, тут же в столовой, облокотясь на спинку стула, стоя, прочитал нам рассказ. Мы оба с восхищением встретили эту вещь. «Заволжье», «Архип», «Смерть Налымова», «Неделя в Турене», «Агей Коровин» вскоре появились в печати. Их поместили «Новый журнал для всех» (рассказ «Архип» в № 12 за 1909 год), альманах издательства «Шиповник» («Заволжье» в XII книге), «Аполлон» («Неделя в Турене» в № 4 за 1910 год).

После того как появился рассказ «Неделя в Турене», наши материальные дела резко пошли на поправку. Издатель «Шиповника» С. Ю. Копельман предложил Толстому договор на очень лестных для молодого писателя условиях: издательство обязалось платить за право печатания всех произведений А. Н. Толстого ежемесячно по 250 рублей при отдельной оплате каждого нового произведения. Это был первый литературный договор, подписанный Алексеем Николаевичем.

Появились и первые печатные критические отклики на прозу Алексея Николаевича. Критика не баловала Толстого. Ему отказывали в «интеллектуальности», декаденты порицали его за то, что он «слишком земной». За такими вожжами декадентской критики, как Мережковский, Гиппиус, Любовь Гуревич, Иванов-Разумник, поносившими первые произведения Толстого, потянулась целая вереница их мелких подголосков, которая с газетных столбцов воевала против реалистического характера его рассказов. Однажды после выхода первого сборника рассказов Алексея Николаевича я подобрала для него газетные отзывы и принялась читать их вслух. Алексей Николаевич, самолюбие которого сильнее всего было уязвлено многочисленными и несправедливыми критическими нападками, лежал на диване, нервно посасывая трубочку, шмыгал носом, вздыхал и отворачивался к стенке. Приятным исключением среди критических статей явился для него отзыв А. Амфитеатрова. Толстой не слишком уважал суждения этого публициста, беспринципность которого была широко известна, но все же порадовался высокоположительной оценке, которую тот дал его рассказам. Он был доволен тем, что Амфитеатров, на-

ходя ему место в литературе среди продолжателей классических традиций, подчеркнул, что совершенно не знает автора и пишет под сильным и непосредственным впечатлением первого знакомства с его книгой. В конце 1910 года и в начале 1911 года до Алексея Николаевича стали доходить хвалебные отзывы Максима Горького о его первом прозаическом сборнике. Это его очень обрадовало. Горький в его глазах был не только общепризнанным народным писателем, но и замечательным знатоком жизни. А это Алексей Николаевич особенно ценил в критиках своего труда, считая, что определить верность художественного изображения может прежде всего тот, кто знает жизнь и способен поэтически ее воспринимать.

В этот период нашей петербургской жизни мы стали посещать ряд писательских домов. Бывали мы у Вячеслава Иванова на его «средах», бывали у А. М. Ремизова, у Федора Сологуба. К Ремизовым Алексей Николаевич проявлял интерес наблюдателя, идти к ним называлось «идти к насекомым». Действительно, и сам хозяин — маленький, бороденка клинышком, косенькие, вороватые взгляды из-под очков, дребезжащий смех, слюнявая улыбочка, — и его любимый гость — реакционный «философ» и публицист В. В. Розанов — подергивающиеся плечи, нервное потирание рук, назойливые разговоры на сексуальные темы, — все это в самом деле оставляло такое впечатление, точно мы вдруг оказывались среди насекомых, а не в человеческой среде. Завернувшись в клетчатый плед, придумывая неожиданные словесные каламбуры, Ремизов любил рассказывать сюжеты из Четьи-Минеи, пересыпая их порнографическими отступлениями. В местах наиболее рискованных он просил дам удалиться в соседнюю комнату. Слишком часто мы в этот дом не ходили.

Я довольно охотно бывала в доме Сологубов, ибо здесь часто появлялись художники Бакст, Сомов, Кустодиев, Бенуа и другие. Алексея Николаевича же в доме Сологуба забавляла и вместе с тем немного раздражала хозяйка, окружавшая смешным и бестактным культом почитания своего супруга, который медленно и торжественно двигался среди гостей, подобный самому Будде. «Философия» Сологуба, его мироотношение, приводившееся в

бездарную систему идеалистических воззрений в статьях Чеботаревской об ее супруге как о «мыслителе», были чужды Алексею Николаевичу, но вместе с тем он ценил высокое мастерство, проявившееся в его «Мелком бесе» и в некоторых стихотворениях из его «Пламенного круга».

Всего охотнее бывали мы у поэта Сергея Городецкого. И сам Сергей Митрофанович, и жена его — «нимфа» (как звали ее в литературных кругах) были милые, юные и жизнерадостные люди. Алексея Николаевича интересовала и поэзия Городецкого и его работа над темами русской старины. У Городецкого мы неоднократно встречали Александра Блока, на вид всегда несколько замкнутого, охотно читавшего вслух свои стихи, читавшего их с потрясающей простотой и искренностью, без малейшей рисовки, без какой бы то ни было декламационности. У нас Блок не бывал, с Алексеем Николаевичем у него не было близких отношений. В литературной среде многие считали Блока высокомерным и холодным человеком. Мне всегда казалось, что так судят те, кто лишь внешне воспринимает людей, что на самом деле Блок должен был быть человеком глубоких и нежных чувств. Через много лет я нашла тому подтверждение на собственном примере, когда прочла в его дневниках следующую запись, относящуюся к октябрю 1911 года и описывающую одну из наших встреч у Городецких: «Безалаберный и милый вечер... Толстые — Софья Исааковна похудела и хорошо подурнела, стала спокойнее, в лице хорошая человеческая острота». Этот тонкий и человечный человек заметил во мне то, что не заметил бы погруженный в себя эгоист: большую духовную перемену, которую вызывает в женщине радость материнства. Да, за два месяца до этой встречи я стала матерью.

9. ОПЯТЬ В ПАРИЖЕ

Алексей Николаевич все чаще и чаще стал поговаривать о том, что пора нам «зажить семьей». «Без детей,— говорил он,— нет настоящей семьи».

В конце 1910 года я забеременела. Мы оба очень хотели, чтобы ребенок оказался дочерью.

Алексей Николаевич окружил меня большой заботой.

Мы стали меньше выезжать в гости, много гуляли. Однажды мы ехали куда-то в санях. Сани раскатились, и нас выбросило на снег. При этом Алексей Николаевич с необыкновенной быстротой успел подхватить меня и с возгласом «вались на меня», падая, принял на себя. Он настаивал на том, чтобы я много отдыхала, медленно поднималась по лестницам.

В мае 1911 года я с нашим знакомцем профессором С. С. Яценко и его женой Матильдой выехала в Париж. Алексей Николаевич не мог поехать со мной, так как был на время призван в армию, но уже через два месяца он освободился и приехал ко мне.

Устроились мы в Париже на квартире Елизаветы Сергеевны Кругликовой, которая на время уезжала в Петербург и охотно предоставила нам свое жилище. Через улицу жили гостившие в Париже русские художники-карикатуристы «Сатирикона» Николай Радлов и Реми (Ремизов). Алексей Николаевич обходился с ними очень «стро-го»: отлучаясь из дому, он заставлял их сидеть у окна их комнаты, из которого была видна мастерская Кругликовой, и прислушиваться ко мне, чтобы в случае внезапных родов я могла послать их за врачом.

Встречались мы в Париже и с поэтом Николаем Минским, одним из первых русских символистов, человеком, который начинал писать еще во времена Надсона, который давно пережил свою известность и теперь жил переводами и публицистикой, лишь изредка возвращаясь к стихам. С профессором Яценко у него находилось много тем для разговоров: и тот и другой интересовались западноевропейской идеалистической философией, имена Ницше, Макса Нордау, Когена и Виндельбанда так и мелькали в их беседах, к которым Алексей Николаевич оставался совершенно равнодушным.

Десятого августа у нас родилась дочь, которую окрестили в русской церкви в Париже, дав ей имя Марианна. Имя было взято из Тургенева, из романа «Новь», который очень любил Алексей Николаевич.

Вскоре с маленьким ребенком на руках и в сопровождении той же четы Яценко мы двинулись в обратный путь, на родину. В вагоне между Алексеем Николаевичем и профессором Яценко произошла ссора. Из газет мы узнали об убийстве Столыпина. Алексей Николаевич возли-

ковал. Яценко же, наоборот, выражал возмущение, заявляя, что он не может согласиться с самим фактом убийства. Толстой раскричался и очень резко выпалил в ответ на это, что когда убивают убийцу, то этому можно только радоваться, и вслед за этим весьма недипломатично изругал Яценко. Тот разозлился и в Берлине «отомстил» Толстому.

Когда мы прибыли в Берлин, там шла забастовка на городском транспорте. Не было также ни носильщиков, ни извозчиков. Пришлось нам добираться пешком до гостиницы на Фридрихштрассе. И вот Яценко, передав свой маленький чемоданчик жене и заложив руки за спину, зашагал первым и налегке. Алексей Николаевич, груженный, как верблюд, чемоданами, картонками, свертками, шел за Яценко, провожая его яростной бранью и плевками. Затем шла я с дочкой на руках, и замыкала нашу странную процессию, на которую с любопытством поглядывали с тротуаров немцы, Матильда Яценко с чемоданчиком. В Берлине мы не задерживались и, прибыв в Петербург, поехали с вокзала на новую квартиру (на Ординарной улице, в доме № 10), где нас ждала тетя Маша, которая отныне поселилась с нами и посвятила себя заботам о внучатой племяннице.

10. В ПЕТЕРБУРГЕ В 1911—1912 гг.

И вот мы зажили семейной жизнью. Реже выезжали из дому. Алексей Николаевич работал над романом «Хромой барин».

Работа над романом протекала спокойнее, увереннее, чем работа над предыдущими вещами, скажем, над романом «Две жизни». Алексей Николаевич реже советовался со мной и с окружающими, писал запоем, был как-то просветленно настроен. Не было никаких творческих терзаний, была большая ясность как в общем замысле, так и относительно деталей.

Когда Алексей Николаевич писал «Две жизни», он знакомил меня со всеми этапами своей работы, просил советов, втягивал в споры гостей. В особенности волновал его вопрос о судьбе героини романа — Сонечки. Перед этой морально чистой, но безвольной женщиной открыва-

лись три дороги. Первая — возвратиться к ненавистному мужу, в обстановку окружающих его лжи и распутства; вторая — уйти к Максиму и одной, без его поддержки, бороться с мужем, на стороне которого было превосходство «закона» и силы; третья — вырваться из «светской» жизни, бежать в монастырь. Алексей Николаевич долго раздумывал над социальной и психологической логикой в развитии этого образа. Раньше чем роман «Две жизни» с надписью «Посвящаю моей жене» был напечатан в XIV—XV книге «Шиповника», он долго советовался со мной по этим вопросам.

Иначе было с «Хромым барином». Я познакомилась с ним тогда, когда рукопись была уже в совершенно законченном виде. Это была очевидная и большая удача Толстого, произведение художника, окрепшего в мастерстве.

Летом 1912 года мы из Симбирской губернии по приглашению поэтессы Е. И. Кузьминой-Караваевой поехали к ней в Анапу. Лето стояло жаркое. По ночам мы часто бежали от духоты из дому и уходили в сад, где спали на земле, на разостланных тулупах. На заре Алексей Николаевич пробуждался первым и будил меня, чтобы смотреть на восход солнца. В Анапе мы много работали. Я писала виноградники, большие, пронизанные солнцем виноградные кисти, Алексей Николаевич трудился над пьесой «День Ряполовского».

Осенью мы навестили в Коктебеле Волошина. От него на несколько дней ездили по соседству к художнику Лятри, а затем из Коктебеля вместе с художником Кандауровым и его женой выехали в Москву.

В Москву мы поехали потому, что еще весной, по желанию Алексея Николаевича, было принято решение уехать из Петербурга. Москва, старинный русский город, была Толстому милее, чем чиновная столица. Он считал, что в «московской тиши» сумеет еще больше и продуктивнее работать.

Мы остановились у Кандауровых и с их помощью подыскивали себе квартиру в новоотстроенном особняке на Новинском бульваре, дом 101, принадлежавшем князю С. А. Щербатову. В Петербург мы поехали за дочкой и тетей Машей, упаковали вещи и с осени 1912 года переехали на жительство в Москву.

11. В МОСКВЕ (1912—1913 гг.)

Если в Петербурге мы вращались почти исключительно среди людей искусства, то в Москве наши знакомства пополнились рядом людей, никакого отношения к искусству не имевших, но пытавшихся на него влиять и красоваться в его лучах. Это были буржуазные меценаты, содержавшие салоны и картинные галереи, устраивавшие литературные вечера, финансировавшие буржуазные издательства и журналы и старавшиеся насадить на Москве белокаменной чуждые русскому искусству вкусы и традиции западноевропейского декаданса. Они приглашали нас на свои вечера в свои салоны, ибо Алексей Николаевич импонировал им и как стяжавший известность столичный писатель, и как титулованный литератор — граф. Меня они приглашали и как жену Толстого, и как художницу, картины которой к 1912 году стали появляться на выставках в Петербурге и Москве.

Алексей Николаевич принимал их приглашения потому, что вокруг них вращалось немало его коллег-литераторов. Таким образом мы побывали у таких меценатов, как Е. П. Носова, Г. Л. Гиршман, М. К. Морозова, князь С. А. Щербатов, С. И. Щукин. Думаю, что визиты к ним не прошли бесследно для Алексея Николаевича как для писателя, что многие наблюдения, почерпнутые в этой среде, затем в определенном виде отразились в таких его произведениях, как «Похождения Растегина», «Сестры» или другие вещи, в которых показаны типы людей умирающего буржуазного мира. Летом 1913 года он написал сатирическую повесть «За стилем», в которой высмеял купеческий снобизм.

Евфимия Павловна Носова была сестрой миллионера Рябушинского, в начале века субсидировавшего символистский журнал «Золотое руно», а в годы гражданской войны субсидировавшего белогвардейщину. Носова — женщина среднего роста, худая, костистая, светловолосая, с птичьим профилем — любила пококетничать тем, что предки ее выбились в купцы-миллионеры из крестьян. Салон ее был известен тем, что «мирискусники» Сомов, Добужинский и другие расписывали в нем стены и потолки. И все же в этих стенах и под этими потолками не было радостной атмосферы искусства, а царила безвкусная купеческая «роскошь».

Салон Генриэтты Леопольдовны Гиршман был поизысканнее. Висели портреты, написанные с хозяйки и ее мужа Серовым. Здесь не щеголяли показным богатством, было меньше позолоты и бронзы. Но и тут было ясно: живопись, скульптура, графика — все это демонстрировалось как предметы искусства, но все это являлось эквивалентом хозяйских миллионов. В эти предметы были помещены деньги, они — эти предметы искусства — в любое мгновение могли быть превращены в разменную монету.

У салона Маргариты Кирилловны Морозовой был другой «профиль». Здесь господствовали англоманские вкусы, все было по-буржуазному деловито. Хозяйка была красавица со степенными манерами. Гости были люди солидные, все больше профессора.

Князь Сергей Александрович Щербатов был не только меценат, но и немного художник. Дом его был обставлен и украшен с изысканным вкусом, лишенным противного купеческого снобизма, столь характерного для салонов других меценатов. Жена его, вышедшая из крестьянской среды, благодаря «режиссуре» князя превратилась в стилизованную аристократическую «даму с собачкой». И она послужила «натурой» для произведения искусства. Ее портрет также писал Серов, который сумел уловить в ее глазах сердечную простоту русской женщины из народа, которую не сумело стереть княжеское «воспитание».

Дом Сергея Ивановича Щукина, известного собирателя произведений новейшей западной живописи, остался у меня в памяти благодаря тому, что здесь мы получили однажды незабываемое музыкальное наслаждение. Невысокий человек с большими пушистыми усами, с необыкновенным блеском глаз сел за рояль и мгновенно овладел небольшой, напряженно слушавшей его аудиторией. Это был Скрябин.

Вне меценатских домов писатели и художники — москвичи — чувствовали себя гораздо непринужденнее, чем в буржуазных салонах и на купеческих «журфиксах». Присмотревшись к роскошным приемам меценатов, мы решили «утереть им нос», устроив у себя маскированный бал на свои весьма небогатые средства. Народу собралось у нас столько, что из наших пяти комнат пришлось вынести всю мебель. Одну из комнат заняли под буфет. Ассортимент в буфете был далеко не разнообразный: винегрет,

холодная телятина, шампанское, лимонад. Зато всех очень забавляло, что вино и лимонад стояли в детской ванночке со льдом. Было очень весело. К двенадцати часам ночи приехали актеры Малого театра, которые выступали с импровизациями. Дом был полон самыми различными людьми: от репортеров до писателей и от художников до меценатов. На приглашении последних «в целях поучения» настоял Алексей Николаевич, меня, как хозяйку, несколько смущало их появление. И что же? Толстой оказался прав: меценаты «скисли», их поразило веселье, какого они никогда не видели в своих салонах, свобода импровизации, на которую люди искусства никогда бы не рискнули в купеческих гостиных. Художник Милиотти провожал от нас Евфимию Павловну Носову и рассказывал потом, что сестрица Рябушинского была очень удивлена успехом нашего маскарада и никак не могла понять, как люди, которые, судя по их угощениям, в ее глазах выглядели как «полунищая богема», могли устроить такой «эффектный бал».

В нашем доме часто и охотно бывали артисты Большого и Малого театров и художники. Часто приходили к нам артисты Яблочкина, Гельцер, Максимов. Художники Сарьян, Павел Кузнецов, Милиотти, Георгий Якулов. Приходил и художник-футурист Лентулов, в доме которого мы познакомились с Владимиром Маяковским.

С писателями мы встречались в Литературно-художественном обществе на Большой Дмитровке, где руководящее ядро состояло из писателей, вышедших из знаменитых горьковских «сред» (Серафимович, Вересаев, Бунин, Телешев), к которым организационно, входя в дела книгоиздательства, примыкали Шмелев, Зайцев. Алексей Николаевич также активно включился в работу общества и его издательства.

Бывали мы и у Валерия Яковлевича Брюсова, где за скромно накрытым столом слушали тихие и умные речи хозяина, его размеренное чтение стихов, его критические замечания, произносимые тоном непререкаемого авторитета. Благодаря Брюсову мы попали и в «Общество свободной эстетики», где однажды мелькнул в развевающейся крылатке Маяковский, а в другой раз торжественно чествовали его антипода в футуризме, высокого, худого, болезненного, сутулого, с напудренным лицом, «великого эго-

поэта» Игоря Северянина, гнусаво и нараспев читавшего свои «поэзы».

Совершенно необыкновенное впечатление оставлял Маяковский. Мы познакомились с ним в 1913 году, он был еще в самом начале своего творческого пути. Говорил он мало, держался просто, иногда нарочито грубовато. Чувствовались в нем необыкновенная воля, жажда творчества, огромный жизненный азарт. У Лентулова, где на него тогда смотрели больше как на художника, чем на поэта, мы с ним «сразились» в карты. Ставки были маленькие, и все же Маяковский проиграл мне весь свой только что полученный небольшой гонорар. Тогда мой партнер схватил лист бумаги и стал играть в долг. Картежное «счастье» внезапно покинуло меня, и Маяковский отыгрался с лихвой. Радовался он совсем по-мальчишески. Но уже через несколько минут он снова весь ушел в себя, в мысли, в стихи. Мы пошли на Воробьевы горы и гуляли там в час заката. Маяковский в черной крылатке шел закинув голову и как бы не замечая нас. Потом он читал стихи, которые я, признаться, не столько понимала, сколько чувствовала. Мне казалось тогда, что это не стихи, а стихия — стихия поэзии, творчества и борьбы. Очень большой и прекрасный человек стоял тогда среди нас на Воробьевых горах. Он был больше всех нас, художников, которые, собравшись у Лентулова, вышли на эту прогулку. Кажется, мы все уже тогда это почувствовали. Если еще не поняли, то почувствовали это все же все...

Как в Петербурге, так и в Москве творческая жизнь Алексея Николаевича шла размеренно и точно. Вставал он в 9 часов утра. После завтрака шел гулять. Ровно в 12 часов дня, «вооружившись» кофейником с крепким черным кофе, он уходил в свой кабинет. Теперь это была комната, оклеенная синими обоями, на стенах — гравюры. Мебель красного дерева: небольшой диванчик, столик, несколько кресел. Одна стена была целиком занята книгами. Недалеко от окна стоял дубовый пульт, перед ним высокий табурет. За этим пультом до 6 часов дня ежедневно работал Алексей Николаевич. Точно в 6 часов он заканчивал дневную работу и появлялся в столовой.

Знакомство со средой артистов Малого театра укрепило интерес Алексея Николаевича к драматургии. Доработав пьесу «День Ряполовского», он взялся за новую

пьесу — «Насильники». В этой пьесе вновь возникает его старый персонаж — Агей Коровин. Пьеса была поставлена Малым театром, это был первый «толстовский спектакль». Критический реализм пьесы, показывающей социальное и духовное оскудение дворянства, вызвал было попытку обструкции на премьере со стороны реакционной части публики. Но пресса и большинство зрителей отнеслись благожелательно к этой пьесе.

Лето 1913 года мы провели на подмосковной даче близ Нового Иерусалима, у композитора Александра Тихоновича Гречанинова. Здесь Алексей Николаевич написал повесть-сатиру «За стилем» и начал новую повесть, «Овражки».

К этому времени дочка наша уже «стала на ноги», начала бойко разговаривать. И Алексей Николаевич много занимался ею, иногда довольно неловко вторгаясь в детскую. После тети Маши и меня он все-таки являлся проверить кроватку ребенка. Кухарку нашу, пожилую и толковую женщину, он настолько извел своим постоянным контролем за чистотой и состоянием полуды у посуды, в которой готовилась пища для дочки, что она нашла себе другое место и покинула нас. В этом, впрочем, не было со стороны Алексея Николаевича ни недоверия, ни «тиранства». Это были причуды любящего отца.

12. РАЗРЫВ

Несмотря на то что в нашем московском доме в семейных делах все казалось совершенно идилличным, в начале 1914 года в наших отношениях с Алексеем Николаевичем начала образовываться трещина. Мои профессиональные интересы все больше уводили меня в среду художников, появились в наших отношениях с Алексеем Николаевичем признаки охлаждения.

Весной 1914 года мы поехали в Коктебель к Волошину. У Максимилиана Александровича всегда бывали какие-то новые гости. На этот раз ими были Майя, как звали ее дачники Волошина, молодая поэтесса и переводчица, в будущем жена Ромена Роллана, Мария Павловна Роллан, и племянница Кандаурова, молодая балерина Маргарита. Именно в Коктебеле, где в прошлом нами были прожиты чудесные счастливые дни, мы особенно

отчетливо чувствовали контраст между былыми и новыми нашими отношениями.

Во время одной из прогулок Алексей Николаевич, в силу своего решительного характера не терпевший недоговоренностей, сказал: «Я чувствую, что этой зимой ты уйдешь от меня». Я ничего не ответила, но стала настаивать на моем отъезде в Париж. Алексей Николаевич согласился на такое «испытание чувств». Приехав в Москву, мы отправили тетю Машу с Марианночкой в Войкино, к Григорию Константиновичу Татаринovu, а я уехала в Париж.

В первом же письме Алексей Николаевич сообщал мне, что ему приснился дурной сон: будто обрушился наш дом. Он писал, что чувства его в большом смятении, потому что наша явь очень похожа на этот его сон. Но уже через несколько недель, в одном из следующих писем, он сообщал мне о своем новом чувстве, о внезапно вспыхнувшей любви к Маргарите Кандауровой. Я решила на более длительный срок остаться в Париже.

Но вот в августе 1914 года началась мировая война, и я поспешила вернуться на родину. Ехала я кружным путем, через Бельгию, Голландию, север Германии, Швецию, Норвегию, Финляндию. На вокзале меня встретил Алексей Николаевич, все поведение которого было внимательным и дружеским. Дома он первым делом извлек записную книжку и, точно вездливый репортер, взял у меня «интервью» о моем путешествии и о дорожных впечатлениях. Несмотря на то, что встреча наша казалась постарому нежной и дружеской, мы все же решили объясниться прямо и честно, без утаек и упреков. Стало ясно — нам лучше разойтись. Мы решили разъехаться на разные квартиры: в одну — я с тетей Машей и дочкой, в другую — Алексей Николаевич.

В 1915 году у Алексея Николаевича были новые тяжелые переживания. Маргарита Кандаурова — предмет его страстного увлечения — отказалась выйти за него замуж. Я считала, что для Алексея Николаевича, несмотря на его страдания, это было объективно удачей: молодая, семнадцатилетняя балерина, талантливая и возвышенная натура, все же не могла стать для него надежным другом и помощником в жизни и труде. И наоборот, узнав через некоторое время о предстоящем браке Алексея Николае-

вича с Натальей Васильевной Волькенштейн, я обрадовалась, считая, что талант его найдет себе верную и чуткую поддержку. Наталья Васильевна — дочь издателя Крандиевского и беллетристики, сама поэтесса — была в моем сознании достойной спутницей для Толстого. Алексей Николаевич входил в литературную семью, где его творческие и бытовые запросы должны были встретить полное понимание. Несмотря на горечь расставания (а она была, не могла не быть после стольких лет совместной жизни), это обстоятельство меня утешало и успокаивало.

Таковы мои воспоминания.

Я не сомневаюсь, что читатель найдет в них различные недостатки. Прошу учесть, что их писал не литератор, а художница; отсюда их литературные слабости. Наряду с эпизодами существенными читатель обнаружит в них эпизоды, которые он найдет мелкими. Прошу учесть, что их писала бывшая жена человека, которому они посвящены, следовательно, женщина, чувствам которой почти одинаково дорого все, что сохранилось в памяти о дорогом человеке.

Я рассказала то, что помню о молодых годах А. Н. Толстого, о его пути в литературу. Мне хотелось показать, что, будучи в годы юности связан с буржуазной средой и с буржуазным литературным окружением, он выгодно выделялся из этой среды и из этого окружения. Уже тогда его как писателя живо интересовала жизнь народа. Уже тогда он шел дорогой реализма. Уже тогда его моральные качества, его честность, прямота, простота и резкость поднимали его над кругом, в котором он вращался. А задатки, которые в годы торжества Великой социалистической революции расцвели пышным цветом в его творчестве, — эти задатки он носил в груди еще до революции...